

П. Д.
БОБОРЫКИН



Избранное



Петр Боборыкин

Проездом

«Public Domain»

1884

Боборыкин П. Д.

Проездом / П. Д. Боборыкин — «Public Domain», 1884

© Боборыкин П. Д., 1884

© Public Domain, 1884

Петр Дмитриевич Боборькин

Проездом

I

– Когда поставлен этот памятник? – спросил барин, сильно за сорок лет, в светлом пальто, у стоявшего с ним молоденького студента в сюртуке, в очках, по всем признакам, только что надевшего форму.

– Который? – переспросил его студент и застенчиво оправил очки.

– Да вот! – и барин указал на памятник Ломоносова через решетку двора нового университета на Моховой.

– Не могу вам сказать.

Студентик неловко взял вбок и удалился торопливою походкой.

"Хорош, – подумал барин, – этого не знает даже".

Да и памятник вызвал в нем пренебрежительное движение тонких, бескровных губ.

Вадим Петрович Стягин был дурен собою: сухое тело, сутуловатость при очень большом росте, узкое лицо с извилистым длинным носом, непомерно долгие руки, шершавая, с проседью, борода и желтоватые глаза, обведенные красными веками.

Одевался он по-заграничному, носил высокую цилиндрическую шляпу, белый фуляр на шее, светлое, английского покроя пальто и башмаки с гетрами на толстых подошвах. Он упирался на палку с серебряным матовым набалдашником.

Теперь он шел домой, на Покровку. Сейчас заходил в Румянцевский музей, так, от безделья, – не отыскал ни переулка, ни даже дома, где, по его соображению, должен был проживать его приятель и товарищ по университету Лебединцев.

На памятник Ломоносова Стягин посмотрел еще, пристально и с оттянутою книзу губой, – мина, являвшаяся у него часто.

"Это полуштоф какой-то! – мысленно выговорил он. – Что за пьедестал! Настоящий полуштоф с пробкой... Точно в память того, что российский гений сильно выпивал!.."

Недобрая усмешка искривила рот Стягина, и он пошел развихленною походкой, гнулся на ходу и начал вертеть палкой.

Стоял чудесный сентябрьский день после дождливого, холодного времени, захватившего Стягина на железной дороге.

Несмотря на погоду, Вадим Петрович чувствовал в ногах какое-то необычное жжение и колотье, которые мешали ему идти скорее.

Вообще он был в брезгливо-раздражительном настроении. Эта Москва и сердила, и подавляла его. Он попал сюда по пути в деревню из-за границы, где проживал – с редкими возвращениями в Россию – почти всю свою жизнь, с молодых годов, с той эпохи, как кончил курс в Московском университете.

Никогда еще, попадая сюда, не испытывал он такого брезгливо-раздраженного чувства к этому городу, ко всему своему, "руссопётскому", как он выражался и вслух, и про себя.

Он приехал "ликвидировать", продать свой дом на Покровке, стоявший второй год без жильцов, продать имение, в крайнем случае, сдать его в аренду.

Надо будет ехать в имение, если он поладит с одним из арендаторов. Все это скучно, несносно и его поддерживает только то, что, так или иначе, он покончит, и тогда всякая связь с Россией будет порвана, никакого повода возвращаться домой... Надоело ему выше всякой меры дрожать за падение курса русских бумажек. Один год получишь пятьдесят тысяч фран-

ков, а другой и сорока не выйдет... Свободные деньги он давно перевел за границу, купил иностранных бумаг и полегоньку играет ими на парижской бирже.

В Париже у него годовая квартира, особняк с садиком, в Пасси. Он держит свою кухарку и грума, ездит верхом на собственной лошади, выписанной из России, потому что у нас они втрое дешевле.

Он не холостой и не женатый, живет на два дома; но вот, после ликвидации своих дел, можно будет построить свой собственный коттедж в окрестностях Парижа и зажить домком, покончить с своею полухолостою жизнью...

Но когда это будет?.. В России все так тянется, кредиту нет, денег нет, всякие сделки с ужасными проволочками.

"Отвращение!" – вскричал Вадим Петрович про себя, все сильнее раздражаясь на Москву.

Его взгляд остановился на двухэтажном доме около манежа, где когда-то помещался знаменитый студенческий трактир "Великобритания".

Неужели и он, в конце пятидесятых годов, когда из подростка-барчонка превратился в студента, надел треуголку и воткнул в португую шпагу, любил этот город, этот университет, увлекался верой в "возрождение" своего отечества, ходил на сходки, бывавшие в палисаднике позади здания старого университета?

Да, все это он проделывал. Участвовал даже в истории, в схватках с мастеровыми, там, где-то далеко, около Яузского моста, где стоит церковь, – кажется, она во имя архидьякона Стефана?

Прошли годы. Порвались и всякие родственные узы. Родители умерли, родственников он недолюбливал, сохранил только почтительное чувство к бабушке; она пережила его мать и отца; от нее ему достался дом на Покровке и капитал в несколько десятков тысяч.

И вся его связь с Москвой сводилась к нескольким домам из дворянского общества, да к товарищу по факультету, Лебедянцеву, чудаку, из разночинцев, с которым он готовился к экзаменам и ходил на охоту... Товарищи дворянского круга разбрелись. Кое-кто живет и в Москве, но все так, на его взгляд, поглупели и опошлели, несут такой противный патриотический вздор...

Вряд ли он к кому-нибудь из них и поедет в этот приезд.

Да вот и Лебедянцева он не мог отыскать. Адрес он затерял, думал найти на память; из-за потери адреса и не предупредил его письмом из Парижа. Надо будет посылать в адресный стол.

Вадим Петрович подходил к Охотному ряду и завернул книзу по Тверской. Куда он ни смотрел – отовсюду металась ему в глаза московская улично-рыночная сутолока; резкие цвета стен, церковные главы, иконы на лавках, вдали Воскресенские ворота с голубым куполом часовни и с толпой молящихся; протянулись мимо него грязные, выкрашенные желтой и красной краской линейки с певчими и салопницами, ехавшими с каких-нибудь похорон... Слева от него – он шел правее по тротуару – провели, посредине, двух арестантов с тузами на серых халатах, а два конвойные солдата в обшарханных и пожелтелых мундирах смотрели так же похмуро и жалко, как и колодники. Извозчики с покосившимися дрожками, ободранные, на клячах, пересекали ему дорогу, когда он поднимался вдоль Исторического музея на Красную площадь.

Сверху стены Кремля башни, золотые луковицы соборов высились над ним, как нечто чуждое, полуварварское, смесь византийщины с татарской ордой.

"Это Европа? – спрашивал он себя. – Это находится в одной части света с Парижем, Лондоном, Флоренцией?.. Allons donc! Это – Ташкент, Бухара, Средняя Азия!"

И ему не казались банальными его возгласы. Он в этот приезд сильнее, чем когда-либо, сознавал в себе западного европейца, со всею беспощадною требовательностью человека, изве-

рившегося в свое отечество, принужденного поневоле проживать тут, в этой псевдо-Европе, не потрудившейся даже хорошенько принарядиться.

Он шел мимо полуразрушенного Гостиного двора и железных временных лавок, и усмешка пренебрежения и постоянного недовольства не сходила с его губ.

В теле он ощущал странное утомление, но взять извозчика не хотел. Ему противно было сесть в грязные дрожки, толкаться из стороны в сторону по отвратительной мостовой.

Еще схватишь какую-нибудь заразительную болезнь. На извозчиках перевозят тифозных мастеровых и мужиков.

– Ну, город! – выговорил Стягин и ускорил шаг по Варварке.

II

Вадим Петрович проснулся поздно, с головной болью и ломом в ногах. Он спал в обширном, несколько низковатом кабинете мезонина. Нижний этаж его дома стоял теперь пустой. В мезонине долго жил даром его дальний родственник, недавно умерший. С тех пор мезонин не отдавался внаем и служил для приездов барина.

Просторный покой смотрел уютно, полный мебели, эстампов по стенам, с фигурным письменным бюро. Всей мебели было больше тридцати лет; некоторые вещи отзывались даже эпохой двадцатых годов – из красного дерева с бронзой. В кабинете стоял и особенный запах старого барского помещения, где живали всегда холостяки. Ничто и в остальных комнатах, – их было еще три и ванная, – не говорило о присутствии женщины.

Лежа на турецком диване, служившем ему постелью, Стягин оглядывал кабинет глазами, помутнелыми от мигрени и лома в обоих коленях. Солнечные полосы весело пересекали стену, пробиваясь из-под темных штор, но они его не веселили.

Вчера остальной день его прошел так же безвкусно, как и утро. Тот господин, который вел с ним переписку по делу аренды, не явился, заставил себя прождать. Перед обедом зашел Стягин к трем барыням, на Сивцевом Вражке и на Поварской. Двух не было еще в Москве – не возвращались из деревни; третья так постарела, обрюзгла, несла такой претенциозный и дурно пахнувший патриотический вздор, что его чуть физически не затошнило. В клубе он приказал записать себя на имя одного барина, которого тоже не оказалось там. За обедом он не встретил ни души знакомой. Против него, за столиком, громко жевали какие-то москвичи неприятного для него вида: не то дворянящиеся разночинцы, не то адвокаты, смахивавшие на артельщиков. Их дурная манера есть, их смех, прибаутки, выражение лиц – все ему было противно и мешало есть. Да и аппетита не было. Он находил все жирным, тяжелым, варварским.

Вечер провел он в театре, в одном из частных театров, где то, что давали на сцене, казалось ему тусклою и тягучею повестью в лицах, с неизбежным пьяным разночинцем, говорящим грубости во имя какой-то правды. Публика возмущала его еще больше пьесы и актеров. Она смеялась от пошлых острот и кривляний актеров, вызывала бестактно и бесцеремонно, после каждого ухода, своих любимцев; в антрактах шаталась по фойе, поглощала водку, курила так, что из буфета дым проникал в коридоры и ходил густыми волнами. К концу спектакля что-то донельзя ординарное, грубое и глупое начало душило его. Он почти с ужасом спрашивал себя в антрактах: "Неужели я мог бы скоротать свой век среди такой культуры, не будь у меня средств жить, где я хочу?"

А ведь это могло очень и очень случиться. Вон его товарищ Лебединцев прокоптел же двадцать с лишком лет в этой Москве!

И теперь, лежа на турецком диване под своим дорожным одеялом, Вадим Петрович и во рту ощущал горечь от вчерашнего дня, в особенности от театра с его фойе, буфетом и курилкой. Никогда и нигде публичное место так не оскорбляло его своим бытовым букетом.

Он позвонил в колокольчик, стоявший на табурете. Ему прислуживал дворник, добродушный и глуповатый малый, по имени Капитон, ходивший неизменно в пестрой вязаной фуфайке и в коротком пальто, которое он совершенно серьезно называл "спинжак".

И Стягину это слово казалось символическим. Он находил, что "спинжак" царит по всей этой Москве, да и всюду, по всему его отечеству. Спинжак и смазные сапоги, косой ворот или вязаная фуфайка, гармоника и сороковушка водки, зубоскальство, ругань, бесплодное умничанье, нахальное обличенье всего, на что позволено плевать, и никакого серьезного отпора, никакого чувства достоинства, желания и возможности отстоять какое-нибудь свое право.

Красное, круглое лицо Капитона, обросшее на щеках и подбородке скорее пухом, чем волосами, показалось в дверях.

– Тепло на дворе?

– Не дюже, Вадим Петрович, а припекает солнышко.

– Подай мне газеты и завари чай! Я буду пить в постели.

– Сию минуточку.

От смазных сапог Капитона пахло ворванью. Этот запах преследовал Стягина повсюду и даже не покидал его обонятельных нервов там, где он не видел сапог. Но у Капитона другой обуви не было.

Дворник принес сначала газеты и сказал, кашлянув в руку:

– Левонтий Наумыч пришли... Когда прикажете позвать?.. Они там, в передней.

– Пусть подождет.

– Слушаю-с.

Левонтий – старый дворецкий его родителей, бывший одно время его дядькой. Теперь он в одной из московских богаделен, куда Вадим Петрович поместил его лет пять тому назад.

Газеты, поданные Капитаном, произвели в Вадиме Петровиче новый наплыв раздражения. Он стал просматривать пестро напечатанные столбцы одного из местных листков и на него пахло с них точно из подворотен где-нибудь в Зарядье или на Живодерке. Тон полемики, остроумие, задор нечистоплотных сплетен, липкая пошлость всего содержимого вызвали в нем тошноту и усилили головную боль.

– Этакая мерзость! – вскричал он и бросил газетный листок на ковер. – Что это за город! Что это за люди, что за троглодиты! – громко dokonчил он и сильно позвонил.

Показались опять красные щеки Капитона с белокурым пухом вокруг подбородка.

– Позови Левонтия.

– Слушаю-с.

Вадим Петрович знал вперед, что Левонтий будет жаловаться на свое богаделенное житье и что ему надо будет дать пятирублевую ассигнацию. Когда-то он любил его говор и весь тон его речи, отзывавшейся старым бытом дворовых; находил в нем даже известного рода личное достоинство, вспоминал разные случаи из своего детства, когда Левонтий был приставлен к нему. До сих пор он, полушутливо, не иначе зовет его, как "Левонтий Наумыч".

– Батюшка, Вадим Петрович! – раздался уже шамкающий голос Левонтия.

Он вошел в дверь неслышными шагами, точно будто на нем были туфли или валенки. Старик, среднего роста, смотрел еще довольно бодро, брился, но волосы, густые и курчавые, получили желтоватый отлив большой старости. На нем просторно сидело длинное пальто, вроде халата, опрятное, и шея была повязана белым платком.

– Здравствуйте, Левонтий Наумыч! – приветствовал его Стягин и поднялся с постели.

– Ручку пожалуйте!

Левонтий скорыми шагами устремился к руке, но Вадим Петрович не допустил его до этого.

– Как поживаете, Левонтий Наумыч? Книжки божественные почитываете? Чаек поживаете?

Побалагурить со стариком по-прежнему Вадиму Петровичу не захотелось. Левонтий сразу напомнил ему, как много ушло времени, сколько ему самому лет и как эта Москва полна для него покойников. И без того вчера, проходя по Молчановке, он насчитал целых пять домов, для него выморочных. Все в них перемерли, и теперь живут там какие-нибудь "обыватели", – слово, принимавшее в его устах особенно презрительную интонацию.

Так точно и Левонтий, с его запахом лампадного масла не то от волос, не то от его балахона, обдавал его кладбищем.

– Надолго ли, батюшка? – шамкал Левонтий, наклоняясь над ним.

– Да как дела. Хочу покончить со всем.

– Как, батюшка?.. Виноват... на одно-то ухо туговат стал я.

– Приехал все продать, – выговорил громко Вадим Петрович, и ему точно захотелось нанести старику чувствительную неприятность, сообщить ему об этом бесповоротном решении – ликвидировать и распрощаться с родиной.

– Дом изволите продавать?

Вопрос Левонтия вылетел почти с испуганным вздохом.

– И дом, и деревню, если хороший покупатель найдется.

– И вотчину?.. Батюшка!.. Как же это возможно!..

Глаза старика сразу покраснели, и две слезы покатались из них по розовой, точно восковой щеке.

– Затем и приехал, – все так же громко и как бы злорадно повторил Стягин.

– Господи!

"Разр്യумится старикашка, – проворчал про себя Вадим Петрович, – и пойдет причитывать!"

– Нечего делать, Левонтий Наумыч, такие у вас порядки, что зря, без всякого смысла, только разоряешься... Цен ни на что нет, дом пустой стоит, бумажки ваши скоро до четвертака дойдут... Слышали об этом?

– Ох ты, господи!.. Это точно, батюшка, все в умаление пришло... Скудость!.. А все-таки... дом продать... Папенька-маменька... дяденька– бабенька – все жили... Опять же вотчина... усадьба... ранжереи, ананасницы...

– Вот что вспомнил!.. От ананасов теперь и навоза-то не осталось...

– Вотчина – дедина, – продолжал старик тоном тихого причитания, от которого Стягину делалось еще тошнее.

– Мало ли что! – почти гневно вскрикнул он.

Левонтий отошел смиренно к двери.

III

Дверь шумно растворилась.

– Лебедянцев!.. Ты, брат?.. – удивленно окликнул Вадим Петрович.

Он не столько обрадовался приятелю, сколько удивился, что тот нашел его. После вчерашней неудачи с отыскиванием его переулка и дома Стягин хотел сегодня утром посылать за справкой в адресный стол.

– Небось удивлен, что я первый тебя нашел?.. Хе-хе!

Лебедянцев – небольшого роста, блондин, с жидкою порослью на сдавленном черепе, в очках, с носом в виде пуговки и с окладистой бородой, очень небрежно одетый, засмеялся высоким, скрипучим смехом.

– Здравствуйте, Левонтий... как, бишь, по батюшке?.. – обратился он тотчас же к старику.

– Наумыч, батюшка, Наумыч... Покорно благодарствую... Скриплю-с, грешным делом, скриплю-с.

– Крепись, старче, до свадьбы доживешь!.. Ну, ты, Вадим Петрович, хорош... нечего сказать. Чтобы черкнуть словечко из Парижа или хоть бы депешу прислал с дороги!

– Да я адрес твой затерял, – оправдывался с гримасой Стягин. – Ваши московские дурацкие переулки...

– Нечего, брат!.. Ну, поздороваемся хоть! Вот физикус-то? Все кряхтит да морщится.

– Позволь, позволь, я еще не умыт!

– Экая важность!

Приятель звонко поцеловал его два раза.

– Да как же ты-то узнал о моем приезде? – все еще полунедовольно спросил Стягин.

– Видел тебя вчера издали... Кричу... на Знаменке это было... ты не слышишь, лупишь себе вниз и палкой размахиваешь... Другой такой походочки нет во всей империи... Вот я и объявился... Заехал бы вчера, да занят был до поздней ночи.

Тон Лебеяднцева в этот раз ужасно коробил Вадима Петровича.

"Как охамился!" – подумал он и собрался встать с постели.

– Левонтий Наумыч, подождите там, в передней.

– Слушаю-с, батюшка... Да вам не угодно ли чего?.. Умыться подать? Я с моим удовольствием...

– Нет, не надо.

Старик тихонько выполз из полуотворенной двери.

– Умываться по-прежнему будешь? – задорно и как-то прыская носом спрашивал Лебеяднец, ходя быстро и угловато перед глазами Вадима Петровича.

– Послушай, Дмитрий Семеныч, – остановил его Стягин, – не арпантируй ты так комнату.

– Что?

Лебеяднец расхохотался.

– Повтори!.. Как ты сказал... арпан... арпанты... Это по-каковски?

– По-французски! – сердито крикнул Стягин. – Садись, пожалуйста, и кури... если желаешь... – А мне позволь умыться.

– Сделайте ваше одолжение! Вот петушится! Все такая же брюзга!

Стягин откинул совсем одеяло, опустил ноги с гримасой, хотел подняться и вдруг схватился за одно колено.

– Ай! – вырвалось у него, и он опять поднялся. – Не могу!

– Чего не можешь? – смешливо спросил Лебеяднец.

– Ах ты, господи! Разве ты не видишь? Не могу встать! Колотье!

– Разотри суконкой!

– Суконкой! – почти передразнил Стягин и начал тереть себе оба колена.

Гримаса боли не сходила с его некрасивого, в эту минуту побуревшего лица.

С трудом встал он на ноги, потом оделся в свой фланелевый заграничный coin de feu и, ковьяля, прошел через кабинет в темную комнатку, где стоял умывальный стол.

– Ты ревматизм или подагру нажил, что ли? – крикнул ему вдогонку Лебеяднец.

"Типун тебе на язык!" – выбранился Стягин про себя, волоча одну ногу. Ходить было можно, но в правом колене боль не стихала, совсем для него новая. Лебеяднец болтал зря: ни ревматизмом, ни подагрой он не обзаводился.

Умыться он должен был наскоро. Стоячее положение поддерживало боль с колотьем в самую чашку правого колена. И в левой ноге ныло.

– Этакая гадость! – повторял Стягин, умываясь.

– Какая погода была по дороге? – крикнул ему Лебеяднец.

– По какой дороге? – все с возрастающим раздражением переспросил Стягин.

– Ну, по Германии, что ли, до границы?

– Сырая, мерзкая.

– Небось в спальном ехал?

– В sleeping car, – назвал Стягин по-английски.

– Поздравляю! Вернейшее средство схватить здоровый ревматизм. Поздравляю!

– Глупости говоришь! – огрызнулся Стягин.

Боль не давала ему покоя. Он, через силу, закончил свое умывание и вернулся к постели хромя.

– Не глупости! – задорно возразил Лебедянцева. – Вернейшее средство, говорю я тебе. Не здесь же ты схватил эту боль!.. Ты посмотри, какая у нас погода стоит! Что твоя Ницца!

– В вашей вонючей Москве, – заговорил, все сильнее раздражаясь, Стягин, – разве есть возможность не заразиться чем-нибудь? Что это за клоака! Таких уличных запахов я в Неаполе не слышал... И неестественно-теплая погода только вызовет какую-нибудь эпидемию.

– Сыпной тиф уже есть... и скарлатина!..

– Чему же ты рад? У тебя дети есть, а ты хочешь!.. Это, брат, бог знает, что за...

Вадим Петрович хотел кинуть слово "идиотство", но удержался, да и в правое колено ужасно сильно кольнуло. Он застонал и прилег на постель.

– За доктором пошли, если приспичило.

Лебедянцева опять заходил по комнате, скрипел сапогами и перебирал то правым, то левым плечом, с покачиванием головы.

Стягину захотелось крикнуть ему: "Да убирайся ты от меня!" – но он только продолжал тихо стонать.

– Мнителен ты непомерно... Избаловался там у себя, в Париже...

– Замолчи, пожалуйста! – перебил Стягин приятеля и порывисто позвонил.

Показалось бритое лицо Левонтия.

– Что прикажете, батюшка? Капитон-то отлучился на минутку... Чаю прикажете заварить?

– В аптеку надо послать, – простонал Стягин и добавил в сторону Лебедянцова: – Comresse echauffante – всего лучше...

Левонтий приблизился к дивану и заботливо спросил:

– Ножки нешто схватило вдруг?

– Ножки!.. Ха-ха! – прыснул Лебедянцева.

– Колотье, батюшка? – продолжал спрашивать Левонтий. – Так первым делом в баньку и нашатырным спиртом...

– В баньку! – опять прыснул Лебедянцева.

Приятель делался просто невыносимым. Вадим Петрович с усилием приподнялся и выговорил:

– Послушай, Лебедянцева! Вместо того, чтобы глупости говорить, ты бы лучше съездил за доктором... Есть у тебя знакомый – не мерзавец и не дубина?

– Есть. В большом теперь ходу.

Лебедянцева сказал это посерьезнее, но тотчас же прежним тоном добавил:

– А Левонтий Наумич дело говорит: в баньку!.. Чего тут лечиться!

– Поезжай, я тебя прошу.

– Изволь, изволь!.. Вот приспичило! Я хотел толком расспросить тебя...

– После, после! Заверни, когда освободишься... Ты на службе?

– На вольнонаемной.

– Ну, и прекрасно!

Говорить Стягину было тяжело. Он с трудом пожал руку приятеля и сейчас же схватился за правое колено.

Левонтий проводил Лебедянцова в переднюю и вернулся к барину.

– Разделись бы, батюшка, – шамкал он. – Позвольте я, чем ни то, ножки-то разотру... Капитошу и в аптеку спосылаем. Мыльного спиртцу бы, коли нашатыря нежелательно...

Старик довольно ловко начал Вадима Петровича раздевать.

Его услуги и старческий разговор были гораздо приятнее Стягину, чем присутствие Лебединцева с прыскающим смехом, резкостями и всем московским прибауточным тоном приятеля.

Капитона послали в аптеку за камфарным спиртом и клеенкой, – так приказал сам Стягин, – а Левонтий смастерил из полотенца и носового платка холодную припарку к правому колену. Он же заварил и подал чай.

Боль не проходила, но Стягин старался лежать спокойнее. Во всем теле чувствовал он жар и зуд; голова болела на какой-то особенный, ему непонятный манер. Он даже не допил поданного стакана чая.

Старик стоял у дверей и покашливал в руку.

– Сядьте, сядьте, Левонтий Наумыч, – сказал ему Стягин, раскрыв глаза.

– Постою, батюшка.

– В передней... посидите... Я позвоню.

Вадима Петровича начинало брать раздражение и на бывшего своего дядьку. Страх заболеть серьезно в этой противной для него Москве начал охватывать его и делал самую боль еще жутче.

IV

В кабинете стоит хмурый полусвет. На дворе слякоть, моросит и собирается идти мокрый снег.

Вадим Петрович, полуодетый, сидит на кушетке с ногами, укутанными тяжелым фланелевым одеялом.

Четвертый день он болен, и болен не на шутку. Голова свежее и в теле он не ощущает большой слабости, но в обоих коленях, особенно в правом, образовалась опухоль, да и вся правая нога опухла в сочленениях, и боль в ней не проходила, временами, по ночам и днем, усиливалась до нестерпимого нытья и колотья.

Лебединцев доставил своего приятеля-доктора – «восходящую звезду», как он его назвал. «Звезда» эта Вадиму Петровичу совсем не понравилась. Он нашел его грубым семинаристом, даже просто глупым, небрежным, с ненужными шуточками над самой медициной, а главное, непомерно дорогим. Этой «звезде» уже платили двадцать пять рублей за визит, и Лебединцев предупредил его, что рассчитать его меньше, чем по двадцати рублей, нельзя.

– Да это возмутительно! – кричал Стягин. – Даже по нашему отвратительному курсу это выходит пятьдесят франков такому болвану, когда в Париже Шарко можно дать два золотых!..

– Ничего не поделаешь! В Москве гонорары купецкие!

– Все изгажено в твоей вонючей Москве! Дворяне, чиновники, трудовые люди – все нищие, а какому-нибудь лекарю-оболтусу плати двадцать пять рублей, потому что с лабазников и чаепродавцев можно брать сколько влезет.

И теперь, сидя на кушетке с опухлыми коленями, Вадим Петрович раздраженно думал о докторе, о его визите, о бесплодности, быть может, созывать консилиум и платить другим "звездам" уже не лиловенькие, а радужные.

Все расстроила эта внезапная болезнь, которую его врач до сегодня хорошенько не определил. Не то это острый ревматизм сочленений, в чистом виде, не то подагра. Но двинуться нельзя, о поездке в деревню нечего и думать. А сколько придется лежать? Кто это знает?

Осень надвигается, холодная и мокрая. Такого рода болезнь, наверное, затянется.

Не мог он до сих пор и переговорить с тем арендатором, который писал ему в Париж и должен был явиться сегодня. Он его не знает, справиться о нем не у кого было, да болезнь и не давала передышки в эти первые дни. Сегодня в правой ноге жжение как будто поутихло. Надо воспользоваться утренним часом, когда вообще бывает полегче, и принять этого господина.

Зовут его Федор Давыдович Грац. Кто он – еврей или немец, швед или просто настоящий русский, носящий нерусскую фамилию? Вадим Петрович знает про него только то, что этот господин арендует имения в разных уездах губернии, а может, и в нескольких губерниях, рекомендовался в письмах как человек с капиталом и просил обратиться за справками к одному генералу и даже к "светлейшему" князю, у которых арендует имения. Полежаевку, деревню Стягина, он знал хорошо; это видно было по его письмам.

Сегодня надо его принять.

Стягин позвонил.

Из двери высунулось бритое лицо Левонтия.

Из богадельни он временно перебрался к барину и, несмотря на свои большие годы, оказался очень полезным. Вадим Петрович не мог выносить глупого голоса и запаха сапог дворника Капитона. Тот употреблялся только для посылок, в комнаты его не допускали; но у Левонтия хватало ловкости и расторопности делать припарки, укутывать ноги больного, укладывать его в постель. Лебедевцев предлагал сиделку, но больной протестовал:

– Русская сиделка!.. Потная, грязная... Покорно благодарю!.. Лучше нанять лакея.

Лакея еще не нашлось подходящего. Левонтий справлялся со всем один и был этим чрезвычайно доволен.

– Проветрить бы воздух, – сказал ему Стягин.

– Форточку, батюшка, опасно открывать. Нешто уксусом немножко продушить...

– Ну, хоть уксусом.

Только Левонтий не вызывал в нем раздражения. С ним он мирился, как с единственным существом, у которого был "стиль", как он мысленно выражался, воспитанность старого дворового и нелицемерное добродушие.

Левонтий через четверть часа подал ему на подносе карточку.

Это был арендатор.

– Проси! – сказал Вадим Петрович приободрившись, но когда хотел переменить положение правой ноги, то чуть не вскрикнул от боли.

Вошел человек, еще молодой, рослый, вроде отставного военного или агента какой-нибудь заграничной фабрики, рыжеватый, с курчавыми волосами и усами, торчавшими вверх, очень старательно одетый. В булавке его светлого галстука блеснул брильянт. Свежесть его щек и приятную округлость бритого подбородка сейчас же заметил Стягин.

– Имею честь представиться! – сказал арендатор, остановившись посередине комнаты, и по-военному раскланялся, стукнув сдвинутыми каблуками. – Прошу великодушно извинить – не мог явиться на той неделе, принужден был скоростижно отлучиться из города.

Говорил он жестко и отчетливо, но не московским говором.

Стягин пригласил его, ослабевшим голосом, присесть к кушетке и пожаловался на свою внезапную болезнь, мешающую ему и теперь съездить в усадьбу.

– Да это несущественно, Вадим Петрович, – заметил арендатор. – Я ваше имение знаю как свои пять пальцев.

– Однако, – возразил Стягин, – мне самому нужно бы освежить...

Он не мог досказать от боли и сделал гримасу.

– Вам нездоровится? – спросил арендатор неискренним тоном.

– Да, вот напасть налетела в этой тошной Москве...

– Припадок подагры?

– Не знаю-с, – ответил Стягин. – И московский хваленый эскулап не сумел еще определить...

Боль отошла. Стягин воспользовался минутами передышки и приступил к деловым переговорам.

– Как только поправлюсь, – начал он, – я побываю в деревне. Вы будете в тех же краях всю осень?

– Обязательно. Уезжаю отсюда дня через два, через три.

– Инвентарь вам известен... Я отдаю, и усадьбу в полное ваше пользование.

– У меня четыре помещичьих дома, – улыбнувшись, возразил арендатор.

– Вы можете отдавать на лето. Усадьба в пяти верстах от железной дороги.

– Как случится!

Тон господина Граца все менее и менее нравился Вадиму Петровичу. Когда дело дошло до определения суммы, он сам ее не обозначил сразу, а спросил, с желанием сделать уступку, какая будет решительная цена арендатора.

Тот покачал головой, выпятил губы и оправил галстук.

– Не меньше шести лет? – спросил господин Грац.

– Хоть десять, хоть двенадцать!

– Для меня достаточно и шести.

И, сжав губы характерным движением, арендатор небрежно посмотрел вбок и выговорил с расстановкой:

– Первые три года – по пяти тысяч, последние три – по тысяче рублей прибавки: шесть, семь и восемь.

– Пять тысяч! – почти закричал Стягин, и от этого нервного возгласа его боль совсем стихла; он перестал чувствовать, что у него распухли колена.

– Так точно!

– Да вы комик!

Он не мог не употребить это бесцеремонное выражение, и если бы не удержался, то просто крикнул бы господину Грацу: "пошли вон!"

– Может быть, – ответил тот, несколько не смутившись. – Это прекрасная цена. Вам известно, что цена земель пала чрезвычайно.

– Только не арендная!

– И арендная также. Мужики разбирают по хорошей цене, но при крупных сдачах какая же гарантия и какая будущность самого имения? Ведь это хищническое истощение почвы – и больше ничего! Цены на хлеб пали до смешного. Я второй год не продаю ни ржи, ни пшеницы.

– Но ведь вы мне предлагаете одну треть того, что я могу получить.

– Сомневаюсь. Не получите и десяти, если и сами станете хозяйничать. А вы ведь желаете ликвидировать свои дела.

– Кто вам это сказал? – задорно возразил Стягин.

– Вы, в одном письме из Парижа, сами изволили выразить это желание.

Вадим Петрович выбралил себя, весь покраснел и тут только опять почувствовал в обоих коленах зуд и жжение.

– Все равно! – выговорил он упавшим голосом. – Такая цена невозможна!

"А если никто не будет давать больше, – спросил он себя вслед за тем, – что ты станешь делать? Продавать за бесценок имение?"

И он успел ответить себе: "лучше продать".

– Торговаться я не имею привычки, – выговорил с усмешкой арендатор. – Найдете более выгодную аренду – желаю полного успеха.

– И какова страна! – вскричал Вадим Петрович. – До сих пор нет ипотек! Вся Европа имеет ипотеки, а мы не додумались. Там на все определенная, известная цена. Как калач купить... А у нас...

– То Европа, а то мы! – шутливо сказал арендатор и положил ногу на ногу.

– Это... это...

Возвращение сильнейшей боли прервало его возглас.

V

Стягину захотелось выгнать вон господина Граца, выместить на нем неудачу своей поездки, надвигающуюся нелепую болезнь, бестолочь всех русских порядков, общее безденежье, падение кредита, скверную валюту, отсутствие цен на хлеб, неимение ипотек.

Если б не приход доктора, он не мог бы воздержаться от выходки. Самая наружность арендатора делалась ему невыносимой, и его франтоватость, брильянт на галстук, прическа, цвет и покроем панталон.

Доктор вошел в самую критическую минуту, – грузный, рослый, еще не старый, с лицом приходского дьякона и с таким же басовым хрипом. Двубортный сюртук сидел на нем мешковато. Во всей фигуре было нечто уверенное в себе самом и невоспитанное.

– Это вы что выдумали? – заговорил он тоном бесцеремонной шутки. – Вам лежать, батенька, следует, а ноги-то у вас черт знает в каком положении...

Он подошел к кушетке и положил широкую ладонь на колени Стягина.

Тот закричал:

– Осторожнее, доктор!

– Вон вы какая недотрога-царевна! Так бы и говорили...

Арендатор взялся за шляпу и проговорил своим деревянным голосом:

– Мы сегодня во всяком случае не покончим... Позвольте просить уведомить меня, когда вам будет удобнее. Только предупреждаю, что больше четырех дней не могу остаться в Москве.

– Прощайте, прощайте! – кинул ему Стягин почти так же болезненно, как он принял доктора.

– Мое почтение! – сказал арендатор, сделав общий поклон, и опять, по-военному, слегка пристукнул каблуками.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.